

отношениям, которые удостоверяют действительное взаимопонимание между участниками коммуникации, имеет в своем генезисе следы деформаций, о которых оно даже не подозревает. Простая фактичность такого рода понимания и взаимопонимания вовсе не гарантирует его истинности – если истину понимать как идеал свободного от насилия согласия – но обретает свою действительную силу только в том случае, если для самой истины существенна легитимация согласия, свободно изъявляемого всеми участниками коммуникации. Некритическое следование интерпретатора сложившемуся в традиции наиболее авторитетному пониманию мира противоречит ключевой максиме критического и рефлексивного отчуждения, согласно которой «понимание на каждом своем шагу должно быть желаемым и искомым» [5, S. 550]. Если этого нет, истолкование является всего лишь «безыскусным» (kunstlos) или не строгим (lax) [5, S. 30].

Высказанные здесь соображения, безусловно, требуют уточнений и дополнительной, более развернутой аргументации, однако сам факт появления такого рода соображений свидетельствует о том, что диалог с наследием Шлейермахера не только возможен, но и обещает быть интересным.

1. Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen 1965.
2. Novalis. Schriften. Stuttgart 1960. Bd. 2.
3. Schlegel F. Kritische Ausgabe seiner Schriften. München-Paderborn-Mien. 1958. Bd. II.
4. Schleiermacher F.D.E. Dialektik. Leipzig 1942.
5. Schleiermacher F.D.E. Hermeneutik und Kritik. Berlin 1838

Фридрих Шлейермахер

О ПОНЯТИИ ГЕРМЕНЕВТИКИ, ССЫЛАЯСЬ НА ДОГАДКИ Ф. А. ВОЛЬФА И УЧЕБНИК АСТА¹

(Перевод с немецкого Андрея Лаврухина)

Сформулированное Астом и во многих отношениях довольно хорошо поясненное герменевтическое основоположение, согласно которому целое понимается из частного, а, в свою очередь, частное может быть понято только из целого, настолько всеобще и неоспоримо для герменевтического искусства, что без его применения не могут быть успешно исполнены уже первые герменевтические операции. Действительно, очень много герменевтических правил в большей или меньшей степени основывается на нем. Если слово известно в силу его значимости для языка в целом, то вопрос о том, насколько эта значимость проявляется в данном случае и насколько она не проявлена, решается благодаря наличию других частей того же самого предложения и, прежде всего, благодаря тем, с которыми

оно находится в наиболее тесной органической связи, то есть значимость слова понимается как часть целого, как частное из совокупности. И это имеет силу не только при выборе из множества так называемых значений слова, но и для всех слов, которые в той или иной степени обладают этой, да и вообще большей или меньшей убедительностью. Если правило предписывает в одном и том же контексте объяснять слово в одном случае так же, как в другом, поскольку маловероятно, чтобы писатель здесь употреблял его по другому, то это может иметь вес лишь постольку, поскольку само предложение, в котором это слово встречается иначе, по праву может рассматриваться в качестве части одного и того же контекста. Ведь, если учесть многие обстоятельства, то в новом отрывке уместность других значений будет столь же правомерна, как и в совсем других произведениях. Если же смысл слова при его повторном появлении определен через первое, то здесь частное тоже понимается из целого. Ведь разъяснение зависит только от ясного понимания того, что эта часть текста на самом деле является целым по отношению к наличному слову. И правильный способ обращения с параллельными местами тоже основывается на выборе таких фрагментов, которые встречаются только в целом, именно поэтому требующем прояснения на предмет его сходности со спорным словом. Следовательно, такие фрагменты тоже могли бы стать частями одного и того же целого. Если же этого не установлено, то и применение тоже будет неверным. Но насколько легко это было бы установить и подтвердить многочисленными примерами, настолько сложно было бы ответить на вопрос о диапазоне применения этого правила. Ведь как слово в предложении является частным и частью, точно также и предложение есть часть гораздо больших взаимосвязей речи. Когда, вырвав предложения из их изначальной взаимосвязи, присоединяют лишь в качестве доводов или подтверждающих цитат к другому комплексу связей, запросто может случиться так, что с отдельными предложениями некоего писателя связываются совершенно ложные представления. И это происходит так часто, что удивительно, как эта верность цитирующих не стала притчей во языцех. Иначе обстоит дело с теми предложениями, которые могут употребляться в качестве пословиц. Будучи всегда в известной мере неопределёнными, едва они появляются, пусть даже ради розыгрыша, как тотчас считаются тем, что может быть определено целиком и полностью лишь благодаря привнесению тех или иных взаимосвязей, в контексте которых их цитируют. Их особенная привлекательность по большей части основывается на том, что, несмотря на их форму, из-за которой они всегда остаются в одиночестве больше, чем другие предложения, они в известной мере предоставлены каждому встречному и, благодаря своему окружению, всякий раз употребляются как-то иначе. Если же мы сделаем ещё один шаг вперед, то нам придется признать то же самое и в отношении гораздо больших взаимосвя-

зей предложений. В противном случае, откуда бы появился, например, тот упрек, часто адресуемый нам, немцам, согласно которому, мы, якобы, не понимаем тонкой иронии, всегда содержащейся в ряду предложений. Ведь в гораздо большем комплексе речевых связей либо полностью отсутствует предварительный намек и приходится всецело обращаться к серьезным размышлениям (тогда не прав писатель), либо на это не обратили должного внимания, то есть эти отдельные ряды были неправильно поняты из целого (тогда виноват читатель). Однако суть дела вовсе не ограничивается такими и подобными им случаями, но всюду, где речь идет о знании того, как точно выбрать ряд предложений и с какой точки зрения стоит рассматривать их взаимосвязь, необходимо, прежде всего, ознакомиться с целым, которому они принадлежат. Правда, и это можно свести к изначальному случаю, который тем самым должен иметь всеобщую значимость. Собственно, для всякой более четко взаимосвязанной структуры предложений имеется ключевое понятие, которое, всегда по-разному, в зависимости от того или иного вида произведения, доминирует в ней или, как мы выражаемся, является её ключевым словом. И этому слову, точно так же, как и отдельным словам в отдельных предложениях, может быть правильно придан вполне определённый смысл лишь в том случае, если оно прочитано во взаимосвязи с другими подобными словами, то есть всякая, большая или меньшая, структура предложений может быть правильно понята только из того целого, которому она принадлежит. И, коль скоро всякое малое обуславливается большим, которое, опять же, само есть малое, то становится очевидно, что частное может быть полностью понятным только через целое. Если, исходя из этого, мы рассмотрим дело истолкования в целом, то, продвигаясь мало помалу от начала произведения, мы будем вынуждены сказать, что постепенное понимание всего частного и организующихся на его основе частей целого всегда лишь предварительно. Оно становится немного полнее, когда обозрению предоставляется большая часть, но затем, когда мы переходим к другой части, опять появляется новая неопределённость, и мы вновь погружаемся в сумерки, поскольку перед нами снова, пусть второстепенное, но начало. Так, чем дальше мы продвигаемся вперёд, тем больше всё предыдущее высветляется последующим, до тех пор, пока в завершении, словно внезапно, все частное не получит своего полного освещения и не представится в чистых и определённых очертаниях. Но мы не можем не отдать должного и г-ну Асту, когда он, дабы освободить нас от частого возвращения и оглядки подобного рода, советует лучше сразу начинать любое понимание с предвосхищения целого. Правда, сложный вопрос, откуда должно появиться такое предвосхищение. Такая возможность появляется только в том случае, если вся наша задача ограничивается теми же самыми произведениями устной речи, которые одновременно есть у нас в письменном

виде. Кажется, именно это имеют в виду как Вольф, так и г-н Аст. Даже предисловия, которые редко делаются в устных докладах, помогают больше, чем всего лишь заглавие. Затем, мы требуем от книг известного рода обзоры и уведомления о содержании, конечно, не только для того, чтобы с лёгкостью отыскать частности, но преимущественно ради наглядного представления структуры произведения, а также для того, чтобы мы уже изначально и сразу смогли собрать воедино те ключевые слова, которые возглавляют более крупные и более мелкие части. Чем они обильнее, тем проще следовать вышеуказанному совету. Действительно, даже когда такие обзоры и уведомления полностью отсутствуют и перед собой имеют только книгу, то в обычных случаях кажущаяся недостойной склонность пролистать её прежде, чем перейти к серьёзной работе с ней, может принести значительную пользу для восполнения этого недостатка, особенно тому, кому посчастливится или улыбнется удача. И все же мне как-то неловко за написанное, когда я подумаю о том, что вся древность, будучи обречённой на понимание при помощи тех же самых правил, что и мы, ничего не знала об этих вспомогательных средствах. Действительно, даже среди превосходных прозаических произведений немало таких, к которым было бы совершенно невозможно применить эти вспомогательные средства. Вероятно, ими настолько пренебрегали, что даже неизбежные внешние разделения не имели ничего общего с внутренней структурой, откуда только и может появиться предвосхищение целого. В случае поэтического текста всё то же самое доведено чуть ли не до смехотворности. Наконец, и среди нас есть немало тех, кто достаточно возвышен, чтобы не читать самому, а предоставить место декламации, которой, конечно, не поможет ни перелистывание, ни уведомление о содержании. Итак, мы вынуждены попытаться всеобъемлюще ответить на вопрос о том, откуда же происходит предвосхищение целого, без которого невозможно исчерпывающее сочувствующее понимание частного. Прежде всего, здесь стоит заметить, что не всякая связная речь является целым в одном и том же смысле, но подчас имеет место лишь свободная рядоположность частных и тогда из целого вовсе не дано понимания частного. Зачастую связная речь является лишь свободной рядоположностью более мелких целых, и тогда нам дано понять каждое частное исходя из более мелкого целого, которому оно принадлежит. Будет ли иметь место один или другой случай,— это всегда зависит от понятия типа, к которому относится речь или текст. Однако даже внутри любого такого типа имеются многообразные градации в том смысле, что одно произведение следует тому же самому типу настолько строго, насколько это оказывается возможным, а другое, насколько возможно, свободно от какой бы то ни было типологизации. Однако как раз отсюда, на основе общей ознакомленности с автором, а также типом и манерой его письма мы получаем первое предвосхищение

целого. В случае тех речей, которые не стали нам доступны в письменном виде, то есть были предназначены лишь для нашего однократного прослушивания, предварительное предвосхищение целого не может дальше совершенствоваться, если только сам ритор не сопроводит свою речь предварительным обзором целого. Нам ничего не будет дано, кроме знаний о типе произведения и общих сведений об авторе, а также о манере и характере его письма. Если вообще отсутствуют сведения о первом или даже об обоих этих моментах, то пробел может восполниться только теми выводами, которые мы сразу делаем по тону и организации частного, а также по способу и типу продвижения вперед. Итак, даже тогда, когда недостаёт сведений об обоих вышеуказанных моментах, так или иначе сочувствующее понимание целого должно быть дано просто через частное. Однако оно будет по необходимости несовершенным, если только наша память не удержит частное и мы, после того как будет дано целое, не окажемся способны возвратиться к частному, дабы уже на основе целого понять его точнее и полнее. Тем самым здесь вновь исчезнет различие между просто воспринятым в устной форме и тем, что нам дано в письменном виде, оно исчезнет полностью, по мере того, как мы, благодаря памяти, овладеем всеми теми преимуществами, которые, казалось бы, присущи исключительно письменным источникам. Так что сказанное Платоном о пользе письменности, которая заключается лишь в том, чтобы устранить недостаток памяти, имеет двойственный характер, поскольку письменность не только основана на порче памяти, но и сама эта порча вновь и вновь поощряется. Из сказанного следует вывод, в равной мере применимый и к речи, и к письменному тексту: любое первое толкование лишь предварительно и несовершенно, а более регулярное и более полное перелистывание лишь там становится исчерпывающим и вырастает в самостоятельную задачу, где мы уже не находим ничего чуждого и понимание осуществляется как нечто само собой разумеющееся, то есть где вообще не появляется никакой герменевтической операции с определенным сознанием. Там же, где дела обстоят иначе, мы вынуждены чаще возвращаться из конца в начало и, дополняя понимание, вновь начинать сначала. Чем тяжелее получить расчленение целого, тем большего поиска требуется для того, чтобы, исходя из частного, напасть на его след. Чем значительнее и богаче по содержанию частное, тем большего поиска требуется для того, чтобы, при помощи целого, понять его во всех отношениях. Правда, в каждом произведении, в большей или меньшей мере, имеются такие частности, которые не полностью проясняются благодаря расчленению целого, поскольку они, скажем так, находятся вне этого целого и могут обозначаться лишь в качестве побочных мыслей. Такие мысли могли бы быть уместны в другом контексте с тем же успехом, что и здесь, а в согласии с основной идеей, вероятно, вообще должны были

бы принадлежать произведению совершенно иного типа. Но и они, принадлежа процессу свободного порождения мыслей, вызванному лишь мгновенным импульсом автора, в известном смысле тоже образуют вокруг себя целое. Только оно в меньшей степени связано с типом определённого произведения, а больше со своеобразием автора, меньше способствует сочувствующему пониманию целого, раз это целое является чем-то организованным и живущим в языке, но больше фиксации и презентации момента плодотворного авторского зачина. И, несмотря на то, что подобные речи в наименьшей степени отвечали бы задаче нахождения этого отношения целого и частного, при всем при том, что на основе каждого частного обычно мы легко постигаем целое и почти можем угадать частное, если бы только нам было дано целое хотя бы в едва заметных очертаниях, всё же, несмотря на все это, они являются величайшими произведениями творческого духа, произведениями всех прочих, каких угодно форм и типов, бесконечно расчлененных, каждый в согласии с его разновидностью и одновременно неисчерпаемых в частностях. В данном случае любое решение задачи всегда представляется нам лишь приближением к окончательному ее решению. Ведь совершенство состояло бы в том, чтобы с подобными произведениями мы смогли бы обращаться точно так же, как и с теми, которые мы обозначили как минимум в данном отношении, а именно что мы из членения целого и отдельного, как минимум, смогли бы достигнуть определенной степени схожести. И если мы над этим поразмыслим, то найдем, пожалуй, довольно веское основание к тому, почему Вольф настоятельно требует от истолкователей и от критиков навыка в композиции. Вероятно, при такой задаче дивинаторный метод, который пробуждается к жизни преимущественно благодаря собственной креативности, почти невозможно было бы заменить большим богатством аналогий.

Однако, все еще не довольствуясь констатируемым до сих пор диапазоном этой задачи, г-н Аст показывает нам путь ее дальнейшего потенцирования, к которому не стоит относиться с презрением. Собственно, в согласии с принадлежностью частного совокупному или части целому, как слово принадлежит предложению, отдельное предложение его ближайшей структуре, а эта последняя самому произведению, точно также и всякая речь, а также любое письменно зафиксированное произведение, опять же, является лишь частным, которое может быть полностью понято лишь на основе еще большего целого. Но легко увидеть и то, что любое произведение является таким частным в двух отношениях. Всякое произведение является частным в той области литературы, которой оно принадлежит и образует с другими подобными ему произведениями целое, на основании которого возможно понимание в одном отношении – в языковом. Но любое произведение является чем-то частным и как отдельный

поступок его автора, и вместе с другими поступками оно образует целое его жизни, то есть только исходя из совокупности его поступков, конечно же, в меру их влияния на эту совокупность и их сходства с ней, возможно понимание в другом отношении – в личностном. Различие между одним читателем, достигнувшем понимания целого до сих пор описанным путем, и другим читателем, сопровождавшим автора на протяжении всей его жизни вплоть до появления произведения, всегда будет очень большим, разумеется, больше или меньше в согласии с качественными особенностями произведения. Для второго читателя облик человека как в целом, так и во всех его частностях представится гораздо яснее и определеннее, чем для первого. Такое же различие имеет место между этим читателем и тем, кто, будучи ознакомлен с кругом всех схожих произведений, должен будет совершенно по-иному знать цену языковым достоинствам отдельных частей и техническим достоинствам всей структуры в целом. Таким образом, для любого целостного произведения, выступающего в роли частного, характерно то же, что и для более малых его частей. В согласии с тем, вновь упомянутым определением, всякое понимание остается лишь предварительным в этом высшем отношении и все покажется нам в совершенно ином свете, если, после того как мы просмотрим всю близкую тому или иному сочинению область композиции, а также после ознакомления с другими, пусть разными работами того же автора и, насколько это возможно, со всей его жизнью, мы вновь вернемся к отдельному произведению. Там, где речь идет о понимании частного в произведении исходя из его цельности, оглавления и схематические обзоры ни в коем случае не смогли бы нам по-настоящему заменить вышеупомянутых возобновляющихся восприятий, повторяющихся возвратов из конца в начало. Отчасти это обусловлено тем, что нам все же приходится полагаться на восприятия другого человека и потому мы всегда можем быть введены в серьезные заблуждения гораздо раньше, чем заметим в них изъян. Отчасти поскольку все такие вспомогательные средства скорее страдают абсолютным дефицитом наглядности, чем оживляют дивинаторные способности, от наличия которых здесь зависит решение большей части проблем. Так и здесь: когда речь идет о понимании произведения частично на основе сходной литературы, частично исходя из общей деятельности автора, мало утешения и пользы от того, что пытаются сделать в пролегоменах и комментариях для возмещения ознакомления с обоими подходами. Ведь обычно от сходных произведений берется лишь то, что использовал сам автор, а от него самого, его действий и его отношений – лишь то, на что указывается в самом произведении. Тот факт, что и это служит лишь частному, но ни в коем разе не целому, что живая и достоверная характеристика автора была бы дана на основе общности его проявлений, или морфология соответствующего типа была бы дана через сравнение

всех групп для облегчения понимания тех, кто с определенного произведения только начинает свое знакомство с автором или типом, – все это тоже было бы неуместно и не согласовывалось бы с замыслом.

Однако по мере того, как мы, кажется, достигли пика требований в отношении понимания частного из целого, мы не можем отказать себе в ретроспективном взгляде на все сделанное до сих пор. Коль скоро, как было уже замечено лишь мимоходом, возможны только два различных класса истолкователей, которые в своем деле делятся на тех, кто в большей степени ориентирован на языковые отношения любого имеющегося в наличии текста, и тех, кто в большей мере ориентирован на изначальный психический процесс порождения и взаимосвязь мыслей и образов, то в этом пункте совершенно отчетливо проводится разница между талантами. В данном случае на откуп языкового истолкователя я отдам все дело понимания отдельного произведения во взаимосвязи с аналогичной литературой. Ведь формы всех композиций образуются из природы языка и, в то же время, на основе общей жизни, которая развивается вместе с языком и с ним тесно связана. Для всего наиболее значимого в этом деле индивидуально-личностное, по преимуществу, является тормозящим фактором. Напротив, тот, кто желает тайно наблюдать за композиционными находками какого бы то ни было писателя и, насколько возможно, мобилизует все свое умение для того, чтобы, наконец, самому в живую увидеть моменты вдохновения и творческой мысли, прерывающие повседневную вязь жизни, словно наития свыше, кто желает по отдельности увидеть и все то, что некогда было связано с ходом вымысла, включая сюда даже побочные мысли, не имеющие значения для идеи целого, кто желает совершить все вышеперечисленное для того, чтобы правильно оценить, как относится все дело композиционного структурирования к существованию писателя в целом, или, беря это само по себе, в качестве чего-то оригинального, чтобы узнать, как определенная личность развивает презентуемое, – для таких истолкователей, безусловно, все вышеупомянутые языковые отношения должны отступить далеко на второй план. Только вот совершенное понимание всегда оказывается обусловленным усилиями обоих истолкователей, а потому не может быть такого изолированного интерпретатора, который был бы всецело привержен одной стороне, причем настолько, что лишился бы восприимчивости к происходящему на другой. Исторкователь последнего типа, желающий пренебречь областью языка, сколь бы ни была понятна его влюбленность в автора и сколь бы он ни был осмотрителен, стал бы приписывать писателю те интенции, которых у него и в мыслях не было, как, впрочем, это часто и происходит с такими интерпретаторами. Однако такой истолкователь не только во многом заблуждался бы, причем тем в большей мере, чем больше сам автор был бы творцом языка, но в нашей области он бы всегда оставался лишь тем, кого не без

основания в сфере художественного творчества называют туманистами (Nebulisten) (здесь я беру в общем, поскольку это касается и поэтов, и риториков, да, я бы сказал, и философов не меньше, чем художников). Если размышлять на тот же манер об истолкователе другого типа, то даже при условии, что он на самом деле верно исследовал связь некоего произведения с остальными произведениями такого же типа, что он не удовлетворялся лишь остроумными сравнениями и сопоставлениями, но глубоко постигал их значение, то и тогда он не избежал бы того, что мы называем педантичностью: ведь в произведении ему не дано целостного видения человека и он не знает его жизни, более того, способность к этому у него полностью отсутствует. Поскольку в том, чем сам не вполне владеешь, легче другим предоставить возможность восполнить пробел, чем живо освоить недостающие навыки, тем более, если сам к ним не имеешь никакой склонности, то кажется, что взбирающиеся на наши высоты лишь с одной стороны, меньше беспокоятся о себе, но, скорее, лишь оказывают пользу другим. А тому, кто хочет стать истолкователем, стоит посоветовать, чтобы он лучше попытался взбираться по обеим сторонам, тогда бы он не стал так легко виртуозом в одном отношении как раз потому, что совершенно беспомощен в другом. Раз мы изначально различали эти две стороны нашего дела, то представляется возможным и двусторонний метод: дивинаторный и компаративный. А затем мы, пожалуй, вправе спросить, как обращаться с ними на этом, довольно высоком уровне. Раньше, когда мы были еще полностью погружены в само произведение, оказалось, что оба были необходимы для каждой из сторон, как для грамматической, так и для психологической. Однако теперь мы имеем дело не с фрагментами из других произведений, взятых исключительно из-за их языка, но со всей областью литературного творчества. С другой стороны, теперь нас интересует не то, что развивается в душе из акта первоначального концепирования произведения, но в задачу входит само это концепирование со всеми видами и способами его действительного развития из единства и целостной взаимосвязи этой определенной жизни. Поэтому, вероятно, с обоими способами дело обстоит не одинаковым образом. В завершении рассмотрим еще раз обе вышеупомянутые стороны нашей задачи: кажется, одна из них по уровню развития настолько отстала от другой, я бы сказал, настолько сократилась, что установление их равенства в предполагаемой герменевтической технике видится совершенно неправомерным. Остановимся сперва на классической древности, всегда остающейся первостепенным предметом, на котором апробируется наше искусство. Какое множество значительных писателей, о существовании которых, их жизни в целом мы знаем так мало, что у нас вообще возникает сомнение в достоверности их личности. А из того, что мы знаем о Софокле и Еврипиде, помимо произведений, есть что-нибудь, позволяющее хоть немного разъяснить

различие между их композиционными новациями? Или столь известные мужи, как Платон и Аристотель. Смогло бы ли все то, что мы знаем об их жизни и отношениях, хоть немного разъяснить нам, почему этот проложил один, а тот совершенно иной путь в философии? И насколько близко они могли бы сойтись в композиционном построении тех текстов, которыми мы еще не располагаем? Так же ли мы удачливы хоть с одним из древних, как с римлянином Цицероном, когда можно отделить от всех его великих произведений целую сокровищницу писем, выступающих в качестве подлинных документов о его личности, и на их основе увидеть личность во всей ее полноте? Обратимся к творениям далекого и покрытого мраком неизвестности Востока. Разве можно было бы только подумать об отдельных образах, различать которые нам бы пришлось для того, чтобы путем выявления своеобразных способов формирования их нрава, бросить свет и на их произведения? Но и на нашей родной почве это наследие все еще весьма невелико, ведь таким истолкованием вышеупомянутых древних творений, которое уподобляется искусству, мы занимаемся совсем недавно. Однако чем больше мы приближаемся к нашему времени, чем больше мы втягиваемся в широкое окружение большого европейского рынка, где все знакомо и одновременно все медленно вояжирует по одним и тем же залам, тем больше кажется, что впервые появляется профессия такого обхождения с предметом и что для этого уже предоставляются вспомогательные средства в отрядных сердцу масштабах. Кроме того, сколь мелочной кажется эта сторона истолкования по сравнению с той. Одна всякий раз выводит нас на ширь и простор, и если кажется, что ради прояснения отдельного произведения нам придется обратиться ко всей литературе, то это может произойти лишь постольку, поскольку эта тем лучше обозримая, тем увереннее истолковываемая составная часть будет частью одного и того же большого целого. Другая, напротив, удерживает нас в тесных рамках отдельной жизни и высшей целью столь напряженных и столь разнообразных усилий является лишь составление ясного образа этой жизни. Тем самым грандиозная историческая конструкция, которую мы здесь приводим для лучшего понимания отдельного произведения отдельного индивидуума находит свое объяснение, прежде всего, в том, что оказывает плодотворное влияние на наше собственное «Я» и на других. При рассмотрении частного мы должны связывать его с величественными событиями, чтобы из этого не получилась лишь мелочность, умаляющая нас и наши научные устремления. Знания отдельного человека как такового также не являются целью этой части нашей задачи, но лишь средством для более совершенного овладения как раз теми деятельностями, которые побуждают нас к вышеупомянутым объективным рассмотрениям. Мы также не должны обманываться в том, что во времена самой классической древности якобы меньше беспокоились

о людях. Именно поэтому мы должны отдать должное пониманию тогдашних читателей, которым мы в этом можем только позавидовать, ведь у нас этого материала нет. Однако, хотя из вышесказанного совершенно понятно, что при психологической задаче мы не можем избежать преобладания дивинаторного способа, для многих людей не менее естественной является противоположная попытка: сформировать целостный облик человека только на основании очень разрозненных заметок. А с тем, что представляется гипотетическим, могут обращаться с недостаточной осмотрительностью, ведь необходимо проводить всестороннюю проверку и даже после того, как гипотезе уже ничто не противоречит, стоит выдвигать лишь предварительные тезисы. Пожалуй, при решении какой-нибудь герменевтической задачи никто не сможет одобрить пренебрежительного отношения к этой стороне дела, а также к контекстуально близкому вопросу о том, является ли произведение плодом всей духовной деятельности его автора или оно было вызвано к жизни лишь особенными обстоятельствами, было ли оно написано в виде упражнения для создания чего-то более величественного или должно быть очень важным для истолкователя как раз потому, что появилось в качестве полемического сочинения, став результатом необычайно волнительных отношений. С другой стороны, способ уже по своей природе является преимущественно компаративным: лишь через противопоставление одинакового в большинстве произведений и выявление сохраняющихся дифференциаций формируется всеобщий образ типа и становится возможным определить, каково отношение сомнительного произведения к этому типу. Однако отчасти уже в способе постановки вопроса есть что-то от подлинно дивинаторного метода. А раз не в полной мере определено место произведения в том всеобщем порядке, которому оно принадлежит, то частично и здесь остается возможность применения дивинаторного метода, пренебрегать которой не стоит.

Наконец, хоть я в это и не верю, но если здесь возможно ошибочное понимание, будто бы я и на этом уровне поставил истолкователю двойственную задачу, то в этом виноват один только я, поскольку мои проводники так же, как и прежде, мало соглашались с этим. Да, я должен признать, что и другую сторону задачи я определил иначе, чем г-н Аст. Ведь там, где он хочет полностью понять произведение из чего-то свыше, вся литература, на которую он ссылается, становится для него, с одной стороны, неподъемной массой, а, с другой стороны, слишком ограничивается формулой, поскольку, обращаясь исключительно к классической литературе, он выводит формулу: необходимо достичь понимания исходя из Духа древности. Это существенно ограничивает намеченный нами метод. Ведь этот Дух был бы тогда присущ всем творениям одного и того же вида, созданного жителями общины, а это получилось бы лишь при абстрагировании от своеобразия частного. Только г-н Аст настойчиво протестует про-

тив этого и считает, что не стоит выискивать и составлять этот Дух из частного, ибо он уже дан в любом частном, ведь, по его словам, всякое произведение древности является лишь индивидуализацией этого Духа. Никто не спорит с тем, что он дан в любом частном, но познаваем ли он непосредственно в каждом из них? Особенно если в речи, например, Демосфена таким образом друг подле друга находятся Дух древности, вместе которого я сразу хочу поставить эллинистический Дух, затем Дух афинского риторического искусства и еще особый Дух Демосфена, а рядом с ними и, прежде всего, как тело, – то, что принадлежит времени и своеобразной ситуативной мотивировке. Если же я прибавлю к этому, что Дух древности стоит искать еще где-нибудь помимо плодов вполне определенного искусства, что вне риторических сочинений он должен быть тем же, что и в произведениях изобразительного искусства и где угодно еще, то окажется, что эта формула перейдет определенные границы герменевтики, которая может заниматься только созданным в языке, отчего, безусловно, везде будет не хватать ее правильного применения. Если вспомнить лишь на мгновение о способе употребления искусственного языка из одной области в совершенно других областях, способе, который обоснован как раз на этом положении и с некоторого времени столь часто встречается, то, при условии, что это не простая игра формулами и что формулы эти основаны на дельной точке зрения, пожалуй, никто не станет оспаривать следующего факта: именно в связи с вышесказанным этим формулам могут быть присущи пагубная туманность и неопределенность. В этом моменте я никак не могу оправдать теории г-на Аста. Ведь если я как раз в этой связи слышу, что идея, как охватывающее жизнь единство, должна быть создана из развивающейся жизни и выступить в качестве ее многообразия и форм, в качестве ее простого единства, то лучше было бы сказать обратное: тогда я окутан тем туманом неопределенностей, которые не могут быть благоприятными для теории, требующей ясного света. Правда, любой добавил бы, что в нашей области восхождение до только что описанного пункта в деле истолкования – это большое достижение, достаточное для того, чтобы посредством языкового употребления правильно понять дух народа и времени, а также, что построенная на этом теория в значительной мере подтвердилась, раз рассмотрение других областей духовной деятельности пришло к аналогичным результатам. Однако я бы не отважился ни на обратный путь и на постижение частного лишь после такого всеобщего допущения, ни на утверждение, согласно которому все это еще принадлежит области герменевтики.

Это размышление приводит меня к другому моменту, собственно, к тому, что г-н Аст различает тройкое сочувствующее понимание: историческое, грамматическое и духовное. Так, последнее, которое, если быть точным, вновь оказывается двойственным в отношении к Духу

отдельного писателя и Духу древности в целом, то есть вся совокупность будет со-стоять уже из четырех частей, и, тем не менее, это последнее из трех он называет наивысшим, в котором два других пронизывают друг друга. В таком случае можно подумать, что здесь он лишь хочет обозначить два уровня, которые мы обнаружили при допущении формулы «частное может быть понято только из целого». Вот только это остается, по меньшей мере, очень неопределенным. Ведь раз он принимает то двоякое духовное за высшее, а грамматическое и историческое за низшее, поскольку оба они должны стоять на одном уровне, чтобы, как он выражается, в высшем пронизывать друг друга, то почему же он не совместил их обоих и не стал различать просто низшее и высшее? За этим следует его различие тройкой герменевтики (герменевтики букв, смысла и духа), что, при такой предпосылке, было бы совершенно невозможно. Это отличие тройкого сочувствующего понимания от тройкой герменевтики, прежде всего, основывается на том, что для него понимание (в том числе понимание речи) и истолкование не одно и то же, но истолкование является развитием сочувствующего понимания. Однако это положение, которое выдвигали многие более ранние предшественники Аста, запутывает суть дела. Развитие здесь является ничем иным, как презентацией генезиса сочувствующего понимания, сообщением о том образе действий, при помощи которого некто пришел к своему сочувствующему пониманию. Вообще истолкование отличается от понимания точно так же, как произнесенная вслух речь от внутренней речи. Если и стоило бы добавить кое-что другое в пользу сообщения, то это могло бы осуществиться лишь в виде применения всеобщего правила красноречивости, однако без дополнения или изменения чего-либо в содержании. [Вольф также ничего не знает об этом, а определяет герменевтику лишь как искусство поиска смысла.] Если же мы признаем значимость различия, проводимого г-ном Астом, то тогда могла бы быть лишь тройственная герменевтика, коль скоро имеется так много способов развития сочувствующего понимания. Однако на это не указывают ни его пометки, ни смысл их изложения, если таковые вообще имеют место. Столь же мало они сопоставимы с его тремя видами сочувствующего понимания. Ведь герменевтика букв, которая дает в руки разъяснение слов и положения дел, работает как с историческим, так и с грамматическим сочувствующим пониманием, следовательно, обе герменевтики, герменевтика смысла и герменевтика Духа, остаются только для духовного сочувствующего понимания. Скорее всего, это просто двойственность: те две герменевтики не отличаются друг от друга настолько, что одна может заниматься только индивидуальным Духом писателя, а другая – Духом всей древности в целом. Ведь герменевтика смысла имеет дело лишь со значением буквы в связи с отдельным фрагментом. Напротив, имеется такое духовное разъяснение отдельного фрагмента, причем в обоих отношениях, что,

кажется, здесь ничто друг с другом не согласуется. Только благодаря этому становится ясно, что прояснение слова и события еще не являются процессом истолкования, а лишь его элементами, герменевтика же начинается с определения смысла, разумеется, при помощи того элемента. Понятно и то, что разъяснение как определение смысла никогда не будет правильным, если оно не выдержит проверки Духом писателя, а также Духом древности. Ведь никто не говорит и не пишет вопреки своему собственному Духу, быть может, за исключением тех, кто находится в смятенном состоянии души. Точно так же и в других отношениях: сперва нужно доказать, что по Духу писатель представляет собой нечто смешанное, раз хотят принять за правильное то разъяснение древнего автора, которое, по общему признанию, противоречит Духу древности. То же самое говорит и сам г-н Аст, когда он заводит речь о разъяснении смысла: тот, кто не постиг Духа автора, не в состоянии открыть истинный смысл отдельных мест и прав лишь тот, кто находится в согласии с этим Духом. Итак, несмотря на тройственное определение своей герменевтики, г-н Аст дает нам лишь одну герменевтику – герменевтику смысла. Между тем герменевтика букв не является таковой, а герменевтика Духа также выходит за пределы области герменевтики, раз она не может раствориться в герменевтике смысла. Таким образом, мы вынуждены оставаться с Вольфом, но при этом стоит заметить, что, с целью обретения совершенных навыков искусства интерпретации какой-либо речи, мы должны овладеть не только разъяснением слов и дел, но и Духом писателя. Приблизительно это как раз и имеет в виду Вольф, когда он различает грамматическую, историческую и риторическую интерпретации. Ведь определение «грамматический» означает разъяснение слов, «исторический» – положения дел, а определение «риторический» он употребляет в том же значении, что и наше сегодняшнее «эстетический». Следовательно, это было бы процессом истолкования лишь в связи с особым родом искусства и являлось бы только частью того, что г-н Аст называет духовным сочувствующим пониманием, поскольку различные формы искусства конституируются вместе с Духом древности, и для того, чтобы исчерпать «эстетическое» в нашем понимании, он, конечно же, вынужден был добавить к «риторическому» еще и «поэтическое» начало. Если бы он еще обратил внимание на индивидуальное начало или на особенный Дух писателя, то его герменевтика распалась бы на пять различных интерпретаций. Однако, каким бы правильным это положение дел не казалось, я бы всегда протестовал против этой формулировки, из-за которой постоянно кажется, будто грамматическая и историческая интерпретации являются чем-то особенным, самодостаточным. С тем чтобы усилить хорошие стороны в оппозиции к плохим, теологи уже связали обе эти интерпретации в одну и взяли на вооружение формулировку «историко-грамматическая интерпретация». Безусловно,

их образ действий, сам по себе, вполне правомерен, в противоположность различению догматической и аллегорической интерпретаций, как будто они могут быть чем-то самодостаточным, и при этом неважно, правильным или неправильным. В подобную же ошибку впадает г-н Аст, когда он различает простой и аллегорический смысл. Это последнее звучит так, словно аллегорический смысл двойственен. Однако если некий фрагмент понят аллегорически, то аллегорический смысл является единственным и самым простым смыслом этого фрагмента, поскольку он не имеет никакого другого. Если же кто-нибудь захотел бы понять этот фрагмент исторически, то он не смог бы воспроизвести смысл слова, поскольку не придавал бы этим словам того значения, которое они имеют в контексте фрагмента. Равно как и наоборот, если аллегорически будет разъяснен тот фрагмент, в котором подразумевалось нечто совсем иное. Ведь если это происходит осознанно, то это уже не процесс истолкования, а использование, если же это происходит неосознанно, то это ложное разъяснение, которых обычно довольно много и которые возникают по причине точно таких же ошибок. С таким же успехом можно было бы выдумать таинственные интерпретации масонских и им подобных формулировок, а также отличать загадочный смысл от простого. Если бы, помимо имеющейся с давних пор догматической интерпретации, с которой дела обстоят точно так же, как и с аллегорической, философ одарил нас еще и моральной интерпретацией, то стоило бы надеяться, что прав оказался тот, кто вновь открыл нам пангармоническую интерпретацию. Ведь, тем самым он, скорее всего, мог предполагать ничто иное, как следующий факт: при правильной интерпретации все различные мотивы должны согласовываться в одном и том же результате. Кажется, будто все эти новации являются разными видами процесса истолкования, словно из них можно выбирать. Однако дальнейшие усилия на разговоры и написание чего-либо по этому поводу уже были бы непривлекательны, поскольку они лишь ярко продемонстрировали бы то, что, к сожалению, уже и так ясно: сами эти усилия не лишены вредного влияния на суть дела. Коль скоро вышеупомянутые новации обусловлены все еще хаотическим состоянием этой дисциплины, то они, пусть не сразу, но впоследствии непременно исчезнут. Они исчезнут тогда, когда герменевтика обретет надлежащий ей облик искусствоведения (Kunstlehre) и когда на основе простого факта понимания, экспликации природы языка, а также основополагающих отношений между говорящим и воспринимающим будут развиты герменевтические правила в цельном единстве всех взаимосвязей.

Примечания

¹ Перевод выполнен по: Schleiermacher F. D. E. Hermeneutik und Kritik. Hrsg. von M. Frank. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main. 1999. S. 329–346.